

ЛАРИСА
ВОЛЬПЕРТ

"КАК ЭТО
ВСЕ БЫСТРО
ПРОЛЕТЕЛО..."

В название я вынесла слова из надписи Б.Ф. Егорова на подаренных нам "Письмах" Ю.М. Лотмана: "...невольным участникам этого тома, с радостью, что удалось издать, с тяжелой грустью - как это все быстро пролетело..." Более точного выражения нашего настроения при чтении писем трудно было придумать. В них восстанавливался ушедший мир, он как бы заново оживал, и, несмотря на разные горести, искрился счастьем; скоротечность этого прекрасного времени сегодня ощущается с особой, щемящей остротой.

С Юрой Лотманом я познакомилась в 1947 г. на 3-м курсе Ленинградского университета. Он был на 4 года старше, но младше на год по курсу. Мы учились на разных отделениях филфака (он - на так называемом "русском", а я - на "западном"), но и у нас все его отлично знали: трудно было не заметить этого подвижного, изящного фронтовика с густой шевелюрой, пышными свисающими усами и длинным носом. Филфак был "женским монастырем": на нашем курсе около трехсот девочек и с десятков мальчиков, которым посчастливилось живыми вернуться с фронта или по какой-либо причине не попасть на него. К вернувшимся принадлежали прошедшие всю войну Юра Лотман и мой будущий муж Павел Рейфман (трагическая статистика: из фронтовиков их поколения не погибли всего 3%). На нашем отделении быстро распространился слух, что

Юра - активно выступает в СНО и очень интересно ведет заседания. Я, хоть и редко бывала на них (приходилось часто уезжать на шахматные турниры), сразу же отметила его удивительную эрудицию, умение организовать дискуссию, но в то время мы еще не успели подружиться.

Зато с Зарой Минц мы с первого мгновения почувствовали взаимную симпатию, часто вместе гуляли, болтали на все темы, заходили ко мне, благо жили неподалеку. Я знала, что она влюблена в Юру, и ее выбор от души одобряла. Оба они были людьми яркими, талантливыми, филологами "от Бога". Когда стало известно, что они женятся, я искренно порадовалась за обоих. Вообще на факультете ходила шутка, что единственный позитивный результат работы СНО - их семья, а работы комсомольского бюро - наша.

По-настоящему мы с Юрой подружились, когда Павел устроился на работу в Тарту (1953). Я после окончания в 1949 г. ЛГУ сдавала экстерном кандидатский минимум, писала диссертацию по современной французской литературе и числилась тренером спортивного общества "Труд" по шахматам. На самом деле это была так называемая "спортивная стипендия", она в те времена выдавалась первой тройке в женском шахматном чемпионате СССР, но поскольку считалось, что в стране нет профессионального спорта, нас всех оформляли "тренерами" (тренировали мы, как можно догадаться, лишь "самих себя"). Я попеременно то уезжала на турнир, то усаживалась за диссертацию, а в промежутках "наезжала" в Тарту ("Хорошо было в старые добрые времена, когда мужья на турнирах копыя ломали, а жены дома сидели", - шутил мой муж, но все же терпел "бродячую" жену; мне повезло - он относился к шахматам с почтением). В это время и началась моя дружба с Юрой.

Любимым развлечением, когда мы вечерами собирались за столом, было игровое задание: рассказать самый трагический, самый смешной, самый нелепый или самый драматический эпизод своей жизни. Юра и Павел, к нашему с Зарой изумлению, их неизменно "отыскивали" только в один период: в страшное время войны. Самое веселое, забавное и комическое в их жизни почему-то тоже фатально связывалось с этим грозным хронотопом. Позже мы поняли: по силе переживаний, по эмоциональной напряженности это время затмило всю прежнюю жизнь. Они не любили придавать расс-

казам о войне “героический” характер, охотно смеялись над собой и с подчеркнутой обстоятельностью остывали на теме - где, когда и что ели.

В 1963 г. Павел прошел по конкурсу на постоянное место в ТГУ, мы обменяли ленинградскую квартиру на тартускую (где и сейчас живем; в этом доме позднее, с 1989 г., поселились и Лотманы), с этого момента контакты семьями стали постоянными. Дружеское общение приносило много радости, но меня постоянно угнетал их тяжелый быт. У них не было ни центрального отопления, ни горячей воды, ни телефона. Идя к ним, я всегда внутренне готовилась к худшему (так входят в дом, опасаясь обвала). “Что там творится сегодня, - думала я, - может быть, прорвались трубы, вылетели пробки, не разжигаются дрова или, не дай Бог, заболел кто-нибудь из мальчишек”.

Маленькое отступление: меня недавно пригласили в университетскую библиотеку помочь разяснить загадочные упоминания, неясные даты и имена в письмах к Заре и, в частности, в моих собственных письмах к ней. Я, к своему изумлению, обнаружила одну особенность: через все письма лейтмотивом проходит навязчивая мысль - что бы такое придумать для изменения их быта к лучшему (раздобыть посудомоечную машину, убедить купить холодильник, сушилку для посуды, приучить молодых гостей мыть посуду за собой и т.п.). В опубликованных письмах Юры к друзьям эта сторона их жизни ощущается мало, о ней не принято было писать, но для знающих людей сквозь его перманентные жалобы на усталость зримо “просвечивает” тяжелый, изнурительный быт. Бывшие ученики, молодые коллеги (Анн Мальц, Игорь Чернов, позднее - Люба Киселева и многие другие) стремились им всячески помочь, но проблемы это не снимало.

Однако вернемся к теме: если все оказывалось в норме, начинался, как тогда говорили, подлинный “кайф”, истинный праздник души. В их доме всегда было интересно, весело: споры, шутки, розыгрыши; ежеминутно рождались стихотворные каламбуры, в их устах почему-то все легко рифмовалось и само “укладывалось” в стихи.

Юра откликался стихами на любые комические ситуации в семье. Например, Зара огорчалась, что Миша никак не научится читать. Она даже высказывала горестное предположение, что это вообще с ним никогда не случится. Павел “утешал” ее на свой манер: “Ты ви-

дела человека, который к двадцати годам не научился читать?” Такой довод несколько охлаждал ее пыл. Утверждать обратное она все же не решалась. Юра же урезонивал ее по-своему, мгновенным экспромтом:

Мальчишка учится на тройки.

Лежит в истерике Мадам:

“А вот соседний мальчик Колька

Уже читает по складам.

О, Боже, до чего мне горько,

Ах, почему читает Колька!”

Или Заре вдруг приспичило купить топор, когда в доме - хоть шаром покати, а денег нет. Мгновенно готово двустихие:

Топор в хозяйстве очень нужен,

Топор поджарим мы на ужин.

Или грустная история, связанная с проходящей домработницей Эллой:

Муж готовил три дня обед,

Он приготовил 120 котлет.

Пришла Элла -

И все съела !

(Но в том-то и дело, что котлетами кормилась не только Элла, но и вся ее семья. Юра не злился, не возмущался, а эмоции излил в шуточном стихе.)

После одного спора Юра сочинил катрен об идеологических оттенках между официальной и поверхностным либерализмом. На его взгляд, иногда кажущиеся различными позиции по сути совпадают:

В нашей комнате на стенке

Есть различные оттенки:

От клопов, от вшей, от блошек

И следы от <.....>.

Юра прекрасно рисовал. Особенно хорошо ему удавался собственный профиль. Трудный быт в рисунках находил веселое отражение. Он не был ученым, отключившимся от всех домашних забот, и семейный воз они с Зарой дружно тянули вместе. Все делали сами: и покупки на всю семью (машины, естественно, у них не было никогда), и топку печей (дрова надо было тащить на тяжелый третий этаж), и уборку (домработницы бывали редко, когда появлялся очередной младенец). У него имелись все основания в комических рисунках изображать себя в виде “многостаночника”: в одной комнате он подтирает попку Леше, в другой готовит котлеты (он вообще прекрасно жарил мясо, в этом отношении с ним мог соперничать только Саша Пяти-

горский), в третьей - разжигает печь, в четвертой - танцует с вилками в зубах перед Гришей (тот не хотел есть), в пятой (наконец-то!) - Лотман за письменным столом.

Тему множества "ипостасей" он вообще легко варьировал. Однажды из всей экзаменационной комиссии к сроку пришли только Юра (председатель) и Павел, а требовалось еще как минимум трое. Они вдвоем и приняли экзамен. Между делом Юра нарисовал трех Павлов (все разные, но до смешного похожие на оригинал) и себя. Все пять заняты делом: один слушает отвечающего, другой дремлет, третий протирает очки, четвертый изучает зачетку, пятый выставляет отметку, словом всё - "тип-топ".

Зару он иногда изображал в виде рыбки (на рисунке - рыбка, проткнутая палочкой: выскакивает то один конец, с надписью "хозяйство", то другой - с надписью "наука") или в виде зайца (он любил ее так называть). Помню - он нарисовал пирамиду из томов А. Блока, рядом блок - на нем - себя. И подпись:

Старик повесился на Блоке,
На память Зайцу эти строки.

На тему: "Ничто человеческое мне (моей семье) не чуждо" он сочинил такой шуточный вариант:

В каждом доме свой скелет,
И у нас его н е т .

Можно было бы привести еще множество "семейных" экспромтов. Ограничусь одним. Он нарисовал сидящего на сосне очень симпатичного дятла со своим профилем и подписал:

На сосне высокой дятел
От семейной жизни спятил.
Отмочил веселый номер,
Нарожал детей и помер.

В праздничные дни неизменно ставили шарады, причем орфографию соблюдать было не обязательно, ценилась остроумная идея. Часто она была политической. Например, желая поставить "режим Салазара", Юра укладывал Зару на диван, брал большой нож и "отрезал" от нее куски - "режем сало Зары". Или ставили в двух частях "Ангола": Анн Мальд сначала исполняла воображаемый стриптиз, имитируя его изящными движениями, а потом кто-то надевал черную перчатку и показывал ее сквозь сетку теннисной ракетки. Юра тогда был на редкость веселым, когда на него "находило", перлы остроумия сыпались как из рога изоби-

лия; в те золотые времена мы с Зарой порой часами хохотали до упада. Он до конца жизни оставался на редкость остроумным человеком, но, увы, такого фейерверка остроумия я уже никогда не видела. На мои, не совсем уместные, сожаления по этому поводу он отвечал: "Даже Гоголь, Madame, на заре жизни - каким был веселым, а стоило напасть болезням, стал желчным и раздражительным".

Гостей в их доме всегда бывало много. Юра умел быть рыцарственно-любезным, каждый чувствовал себя свободно и раскованно. Благодаря ему и Заре атмосфера в их "микром мире" была проникнута подлинным гостеприимством и каким-то особым обаянием рафинированной интеллигентности и образованности.

В конце 1960-х Юра попросил меня давать ему уроки французского языка. Лексикой он и сам владел неплохо: когда уходил на войну, взял с собой словарь (75 тысяч слов), мол, или убьют или он выучит его наизусть. Немецкий он к тому времени знал вполне прилично: кончил знаменитую ленинградскую Peterschule. А вот с французским языком дело обстояло хуже - надо было начинать с азов (немного знаком он был только с произношением). На войне заучивал, если удавалось, 20 слов в день. Однажды солдаты-однополчане не могли найти раскурку и с горя "попользовались" его словарем. Обнаружив лакуну, он смертельно на них обиделся. Забавно было слышать его рассказ, как он пытался им втолковать, что это - форменное предательство. Они и вырвали-то всего каких-то два листочка (словарь так поныне и существует без них) и, кстати сказать, он все-таки сумел их убедить: подобного злодеяния они больше не совершали.

Моей задачей было учить его грамматике и разговорной речи. Во время уроков он обращался ко мне "Madame" и на "Вы" ("Vous"), а потом по какой-то загадочной логике "болтовни", немного в шутку, немного всерьез, при разговоре о важных материях стал иногда обращаться так и по-русски. Скоро выяснилось: какие-то слова он знает, а я, к своему изумлению, о них понятия не имею (он ведь на войне запоминал все подряд, а у меня не было привычки "зазубривать словари"). Хотя мне было обидно (я все же закончила французское отделение ЛГУ), я смеялась над собой вместе с ним. Занятия разговорной практикой проходили очень живо и, признаюсь, не без пользы для меня. Обычно я давала тему для самостоятельной подготовки к дискуссии,

и, какая бы она ни была, он неизменно вносил творческий элемент. Например, на тему "Структура детективного романа" он, помню, подготовил увлекательную лекцию, для меня совсем не бесполезную. К грамматике он, относился, увы, без должного почтения, и мне стоило большого труда уговорить его изменить мнение. А вот разговором, и в частности идиоматикой, он занимался с живым интересом и удовольствием. Позже, после поездки в 1990 г. в Париж, он признавался, что на улице понимал мало, но зато в разговоре с коллегами чувствовал себя достаточно свободно. Я сделала ему комплимент - это, действительно, достижение, если учитывать полное отсутствие разговорной практики дома. Французские тексты, включая работы по структурализму, он читал без затруднения. Примечательный факт: он и по-французски легко рифмовал, иногда посвистывая и мне веселые катрены. Не могу себе простить (какая глупость!), я их не сохранила, презирая глагольные рифмы. Приведу лишь два.

Он часто сопровождал подарки стихотворными надписями (обычай древних греков: такие надписи у них назывались "ксениями"). К моему 43-летию он подарил мне книгу М.А. Барга "*Шекспир и история*", пластинку Азнавура и духи с каким-то завлекательным названием. Шекспир был актуален: мы только что посмотрели в БДТ "*Генриха IV*" (Болингброка) и спорили о решении Товстоноговым образа Молвы (в занавесе было проделано множество отверстий, из каждой выглядывала гротескная болтливая рожа). Азнавур был тогда моим любимым шансонье, мы часто его вместе слушали. Духи - всякой женщине приятны. Но как это все объединить в одном катрене? А вот так:

Болингброк под Азенкуром
Наслаждался Азнавуром,
Но, снабженный тонким нюхом,
И духи он тоже нюхал.

В 1970 г., когда я была на курсах усовершенствования в Москве, на свет появился мой старший внук Саша. И вообще в Тарту пошла такая волна: в тот же момент у нашей общей любимицы Керри (собаки Лотманов) родились щенки. Юра считал, что об этих важных событиях мне надо сообщить незамедлительно. Помню, как я была счастлива, получив телеграмму с "макароническими" стихами:

Юной бабушке - "Ура!"
Mille saluts et cetera.

Подпись: Минц и сыновья,
Керри с детками и Я.

Кто-то, услышав этот катрен на слух, спросил у моего сына Сани: "Слово "подпись" подразумевалось или оно было написано"? Сын ответил: "Конечно, написано. Разве вы не знаете, что стихи Юрмих пишет только правильным размером?"

В 1963 г. я прошла по конкурсу на кафедру русской литературы в Псковский педагогический институт. Началась моя "челночная" жизнь (и продлилась 14 лет!): полнедели в Пскове, полнедели - в Тарту. Я должна была читать курсы зарубежной литературы и французскую литературу на французском языке для студентов-романистов. Когда я стала вникать в научную жизнь кафедры, неожиданно выяснилось: у них есть общая тема - *Пушкин*, не то чтобы непременно для всех обязательная, но в высшей степени желательная. Соседство знаменитых пушкинских топосов (Михайловское, Тригорское, Петровское) создавало на кафедре особую атмосферу, на ней царил бережное, можно сказать, трепетное отношение к поэту, глубокий интерес к его личности, биографии, творчеству. Регулярно издавались "*Пушкинские сборники*", проводились престижные пушкинские конференции.

Определял у нас научную атмосферу заведующий кафедрой, талантливый ученый, прекрасный педагог, увы, недавно умерший, Евгений Александрович Маймин, Юрин сокурсник, тоже вернувшийся с войны, главный вдохновитель "*Пушкинских сборников*".

Помню - на меня, романиста, защитившего диссертацию по современной французской литературе, никто не "давил", я поначалу публиковала работы на привычные для меня темы, но в воздухе ощущалось какое-то особенное пристрастие к Пушкину, и мне захотелось приобщиться к кафедральному "братству". Однажды, вернувшись в Тарту, попросила совета у Юры: "Как быть?" Ответ был мгновенным: "В чем дело, Madame? Вашей темой будет *Пушкин и Франция*". Признаться, я была в растерянности: еще недавно такой темой заниматься было невозможно. Она с конца 40-х по конец 50-х годов, в связи с гонениями на так называемый "космополитизм" была фактически под запретом. Но в 1960 г. вышла книга Б.В. Томашевского "*Пушкин и Франция*", и обстановка отчасти изменилась (кстати, книга могла выйти только посмертно и благодаря подвигу вдовы ученого И.Н. Медведевой-Томашевской, ко-

торой удалось ее издать лишь “под ореолом” смерти мужа. Трагическая ирония: чтобы книга увидела свет, надо было умереть).

Пушкиным я никогда не занималась. С чего начать? Решила: с писем. Я их читала внимательно и раньше, но теперь требовалось совсем другое чтение. И вот, когда я добралась до писем эпохи михайловской ссылки, я вдруг, поначалу едва уловимо, ощутила родство переписки с чем-то мне хорошо знакомым, да, конечно, с *Опасными связями*, самым “игровым” романом эпохи. Оказалось, эпистолярный мир Михайловского-Тригорского полон “игры”, и она идет по *Шодерло де Лакло*, автору *Опасных связей*. С этим открытием я поспешила к Юре. “Поздравляю, Madame, Вы нашли свой аспект, - обрадовал он меня, - у Пушкина лишь два упоминания Лакло, Вы же в связи с этим именем открыли целый новый “игровой” мир, и при том совершенно не выдуманный”. Постепенно становилось все ясней: игра идет не только по “Опасным связям”, но и по другим французским романам, повестям, а также по комедии, шутливой поэме, ироническому эссе, частному письму. Тема незаметно разрасталась, захватывая все новые жанры, “игровые” топосы, литературные миры. Позднее в ее орбиту вошел и игровой Стендаль.

Юра дал мне хороший совет, определивший всю мою дальнейшую научную судьбу. Я опубликовала в псковских *“Пушкинских сборниках”* 8 статей, и они стали впоследствии основой моей монографии *“Пушкин и психологическая традиция во французской литературе”*. Когда статей стало более трех десятков, Юра сказал: “Пора защищать докторскую”. “Но ты же, как никто другой, знаешь, какая я невежда”. Он остроумно “успокоил” меня: “Защитишься - потеряешь это ощущение”. После защиты знавшие его шутку иногда спрашивали: “Ну, и как?”. Я неизменно отвечала: “Как в воду глядел”.

У меня была счастливая возможность во время создания книги консультироваться с Юрой и Зарой. Мы часто спорили, иногда я не соглашалась с их мнением, но в целом их советы были для меня поистине бесценными. Зара была еще и замечательным редактором, я часто подсовывала ей свой текст, и было любо-весело глядеть, как он хорошел на глазах. Они успели прочесть первую часть моей новой книги *“Пушкин в роли Пушкина”* и дать множество ценных советов, за что я им бесконечно благодарна. Но вот вторую часть книги

(*“Пушкин и Стендаль”*) они уже, увы, прочесть не могли.

Так вот, возвращаясь к прежней теме: в Пскове мне посчастливилось как бы заново “обрести” Пушкина. Вообще между Тарту и Псковом установились отношения не совсем обычные, создалась совершенно особая научная обстановка: кафедры “взаимно” участвовали в конференциях, “взаимно” оппонировали, печатались “взаимно” в сборниках. Например, Юра напечатал в наших *“Пушкинских сборниках”* прекрасные статьи о *“Капитанской дочке”* и поэме Пушкина *“Анжели”*, много раз выступал с лекциями перед студентами пединститута, с докладами на конференциях. Однажды во время очередной июньской конференции (они были приурочены ко дню рождения Пушкина) всех гостей повезли в пушкинские места, и кто-то “скрытой камерой” сфотографировал нас с Зарой на вершине Савкиной горки: получился забавный снимок. Мы вольготно расселись на траве, явно “травим” что-то интересное, между нами шляпа Юры, и все это на фоне роскошной природы Михайловского.

В письмах Б.Ф. Егорову, вспоминая свои многократные посещения Пскова, Юра отмечает, что ему там особенно хорошо работалось; при этом всякий раз очень тепло отзывается о своем сокурснике Жене Маймине. Рекомендую его Борфеду в качестве автора в планируемый сборник, он всячески его нахваливает (“умный мальчик”¹, “умный паренек с моего курса”²), рассказывая об одном неудачном розыгрыше на банкете, от души кается (“Женя очень огорчен. Не знаю как и быть”³), позднее хвалит его ученика, участника тартуской студенческой конференции (“умный мальчик”⁴).

Это было поистине конструктивное для обеих сторон научное содружество, в чем-то равное, а в чем-то и не совсем: воздействие тартуской кафедры было значительным. Вспоминаю такой эпизод. На заседании псковской кафедры обсуждалась моя статья *“Пушкин и Шодерло де Лакло (на пути к роману в письмах)”*. Все дружно против нее восстали. Характерный знак времени: псковская кафедра довольно сильная, не консерва-

1 Лотман Ю.М. Письма. Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии Б.Ф. Егорова. М., 1997. С. 126.

2 Там же. С. 128.

3 Там же. С. 135.

4 Там же. С. 139.



тивная, с хорошими специалистами, не могла смириться с мыслью, что наш Пушкин хоть в чем-то мог учиться у Лакло (ну, ладно, у Байрона или у Вольтера) и к тому же разыгрывать в жизни злодея Вальмона. Замечу в скобках, что пристрастная критика оказалась для меня исключительно полезной. Дома, опровергая возражения, я старалась найти все новые доказательства своей правоты и статья на глазах становилась краше. Именно тогда я открыла закон: хотя пристрастного критика хочется “убить”, на самом деле - самое время ему ставить памятник. Статью отказывались включить в очередной “Пушкинский сборник”, кроме всего прочего, коллегам казалось, что ею я как бы подвожу под него мину. И вот тут очень важным оказалось мнение тартуской кафедры, одобрившей статью. Юра написал положительный отзыв, и ее все же включили. Не сочтите за хвастовство: после выхода сборника Евгений Александрович великодушно передал мне (глубоко его удививший, как он признался) щедрый комплимент в мой адрес Лидии Яковлевны Гинзбург, а Вадим Эразмович Вацуро тут же сослался на статью в предисловии к книге “Пушкин в воспоминаниях современников”. Их отзывы сыграли благотворную роль: в дальнейшем я уже могла спокойно заниматься игровым Пушкиным.

Примечательно, что общение было не только научным, но и чисто человеческим. Члены двух кафедр знали друг о друге бытовые детали, житейские подробности, семейные горести и радости. В письмах к Борису Федоровичу видно, как глубоко переживал Юра за Евгения Александровича, когда внезапно несчастье об-



рушилось на семью (тяжело заболела его жена, Татьяна Степановна). Но он был готов разделить с псковичами и радость. Когда в 1976 г. я праздновала там с коллегами свое 50-летие, ко мне из Тарту приехала целая когорта (не только мои муж и сын, но и Зара, Юра, Ира Паперно, Боря Гаспаров). Очень получился веселый юбилей. Вспоминается один забавный эпизод. Мне вдруг до смерти захотелось, чтобы от “наезда” тартусян остался снимок. Они очень упирались. Но что им было делать: юбиляр просит. Пришлось сдаться. Я их затащила в какую-то страшную “солдатскую” фотографию. Вообразите еще длинную очередь, и вы легко сможете себе представить их “восторг”. Но судьба подарила и компенсацию: фотограф был на высоте, он оказался истинным мастером. Сразу понял, что юбиляр - Юра, усадил его в центр, рядом - с двух сторон - Зару и меня, в “стоячем” ряду поместил Иру и Боря (будто догадался, что они только что поженились), рядом - Павла и Саню. Внимательно изучив композицию, он явно остался недоволен. Тогда он подошел к Юре, посмотрел на него оценивающим взглядом и вдруг сделал невообразимый жест: провел по носу пальцами линию от лба к подбородку, как бы намечая ось симметрии. Мы похолодели. Дальше - больше! Еще раз проницательно взглядевшись в “юбиляра”, он сделал второе движение (на этот раз двумя руками), от которого мы уже просто потеряли дыхание: он старательно расправил Юре усы. Все замерли. Юра не дрогнул. Оставшись удовлетворенным нижним рядом, мастер принялся за верхний. Изучив его внимательно, он строго сказал Боре: “У вас не наше лицо, сделайте наше лицо”. Боря

сделал (это видно на фото). Видна и реакция Иры Паперно (она и вообще-то не отличается кротостью характера, а тут у нее, что называется, “желчь потекла из ушей”). Но цель была достигнута - мой план реализовался. Позже, когда я вручала им снимок, против всех моих ожиданий, выяснилось, что он понравился. Более того, на Юру он произвел сильное впечатление. Вернувшись в Тарту, он незамедлительно повел Зару и трех внучек в фотоателье (от этого похода осталось прелестное цветное фото).

Но вернусь к рассказу о взаимоотношениях двух кафедр. При внутренней близости обе кафедры были построены как бы по принципу от противоположного. На тартуской кафедре были все мужчины, за одним исключением - Зары; на псковской - только женщины, за одним исключением - Евгения Александровича. Комическая симметрия служила постоянным источником розыгрышей, шуток, карикатур. Тартускую кафедру рисовали, изображая “затюканную” Зару, окруженную представителями сильного пола, относящимися к ней как к “своему парню”, т.е. без всякой куртуазности и галантности. А нашу изображали совсем по-другому. Обычно в центр помещали Евгения Александровича, окруженного кордебалетом кафедральных дам; каждая хочет привлечь к себе его благосклонное внимание и потому применяет самый выигрышный для себя способ (картинки были очень веселыми). Вообще-то все наши кафедральные дамы были женщинами “с характером” (не исключая автора этих строк), управлять ими - врагу не пожелаешь! Каждая в отдельности вроде бы и ничего, но вместе - не дай бог! Бедному Евгению Александровичу иногда приходилось совсем не сладко. От всего этого у него даже завелась “патологическая” (как мы ее шутливо квалифицировали) мечта о мужчине. Однако на наш вопрос: “Но ведь работники-то мы хорошие?” он неизменно отвечал: “Что да - то да”. “Смотрите, - предостерегали мы его, - вот получите столь желанного мужчину - еще наплачетесь”. И как в воду глядели (но это уже другой сюжет).

Юра знал от меня обо всех этих нюансах кафедральной жизни. К Евгению Александровичу он относился очень хорошо, но над сложностью управления непокорной “паствой” не прочь был и посмеяться. Легко ему было иронизировать - вокруг него в кафедральном хороводе крутились одни мужчины, хотя и с ними справиться было непросто. Однажды после рассказа о ка-

кой-то очередной моей обиде на шефа (причина была всегда одна - я рвалась в Тарту, где жила моя семья, а он, естественно, “не пушал”) Юра мгновенно сочинил на него эпиграмму. Передавая свой экспромт, он потребовал от меня честное слово, что я ее в Пскове не обнародую. Не подозревая, на какую муку себя обрекаю, я легкомысленно дала “честное слово”. Эпиграмма - от имени самого Евгения Александровича:

О, как пройти мне биссектрисой
Между Алисой и Ларисой,
Меж Марьей Титовной и Верой,
Между чумою и холерой.

Я была от нее в восторге. Отлично были схвачены характеры: Евгения Александровича, человека мягкого, в высшей степени интеллигентного, и “наш”, обобщенный. Особенно восхищал заключительный пуант. Меня так и подмывало разделить свой восторг с коллегами: ведь Юрмих (как многие его тогда называли) обессмертил нашу кафедру в веках. Но как быть с “честным словом”? Тут только я поняла, что Юра сознательно подверг меня пытке: эпиграмма беспрерывно вертелась на кончике языка, я глотала ее “пудами” и при этом страшно мучилась. До конца недели я держалась “как партизан на допросе”, но потом “раскололась”. Реакция была, как я и ожидала, вполне достойной. Вера Николаевна Голицына (знаток Серебряного века, Ахматовой, Цветаевой) отреагировала первая и весьма точно: “Передайте Юрию Михайловичу, что я ничуть не обиделась, хотя именно я рифмуюсь с *холерой*”. Евгений Александрович шутливо обиделся: “Я - в претензии. Татьяна Степановна прочла и сказала: “Вот видишь, какие вирши пишет Юрий Михайлович. Сядь и напиши для Кати стихи про зверей”. Пришлось все воскресенье корпеть над стихами”. Других наших дам я предусмотрительно с эпиграммой не ознакомила. По возвращении в Тарту сомнений не было - надо было признаваться. Я решила первой перейти в наступление: “Вот Пушкин никогда не писал эпиграмм “за спиной” у друзей, открыто им их читал. Даже Кюхле, уж на что была жестокая эпиграмма, чуть к дуэли не привела, а все же - сам и прочел”. Юра мгновенно усек, куда я клоню, и, минуя все промежуточные этапы, решительно подытожил: “Разрешите, Madame, мне самому выбирать место и время для обнародования моих эпиграмм”. Но дело было сделано: коллеги эпиграмму узнали.

Не сочтите за нескромность, но думаю, что в общении двух кафедр моя роль была не из последних. Я была как бы “живой ниткой”, связывающей два топоса, своеобразным “челночком”, еженедельно снующим туда-сюда и несущим в обе стороны разнообразную информацию. После того как в 1977 г. я прошла по конкурсу на кафедру русской литературы в ТГУ и окончательно переселилась в Тарту, связь между кафедрами стала затухать и вскоре сильно ослабла.

Хотелось бы рассказать о многом: и о летнем отдыхе в упоительном местечке под Тарту, Валгеметса (много лет и мы, и Лотманы снимали там дачи), и о конференциях в Кляррику, и о многих событиях кафедральной жизни, но места мало, к тому же я ограничила себя временными рамками, и потому под конец вспомню лишь одно событие начала января 1970 г., оставившее в памяти неизгладимый след - день обыска у Лотманов.

Причин обыска я касаться не буду⁵. Замечу только: за диссидентской литературой мы охотились упорно, раздобывали ее в Москве, в Ленинграде, в Риге, судорожно читали ночами, в спешке размножали, делали копии, стремясь привезти книги единомышленникам в Тарту. Позже, перечитывая те же самые тексты, мы сделали открытие: тревожная обстановка прошлых времен придавала им добавочный интерес и некоторые из них, перечитанные в уюте и в комфорте, кое-что потеряли в своей эстетической ценности.

Так вот, в этот день мне потребовалась какая-то лотмановская книга (они тогда жили на ул. Кастани). Позвонила в дверь около 11 часов утра, открыл сам Юра, и я с изумлением увидела, что квартира полна незнакомых мужчин. “Обыск!” - пронеслось в голове. Мы уже были “начитаны”, теоретически знали, как следует себя вести, когда тебя в этом случае задержат в квартире до конца обыска. “У меня урок французского с Гришей”, - попробовала я проверить обстановку. “Убирайся немедленно!” - прошипел Юра. Я смекнула, что времена изменились: ему разрешили открыть дверь, мне позволили “слинять”. Я помчалась на кафедру предупредить Анн Мальц (на тот случай, если там есть что-то запрещенное), а потом стремглав - домой (уничтожить “свое”). На душе было скверно, все время мучила тревога: а вдруг - *нашли*, что будет с ни-

⁵ О них идет речь в статье П.С. Рейфмана “История одного посещения”, подготовленной к печати.

ми, что в первую очередь следует предпринимать нам. Часам к двум я не выдержала: “Я сбегая?” Павел кивнул. Все повторилось снова, опять открыл Юра, в двери была видна та же картина, только его глаза стали совершенно синими, а голос абсолютно злым: “Исчезни!” Пришлось снова ретироваться. Мы с Павлом промаялись часов до шести вечера, места себе не находили. Потом поняли - ждать немоготу. Павел сказал: “Пошли!” Едва мы завернули за угол, как увидели спешащих в наш дом Юру и Зару, веселых, смеющихся, счастливых: “Ничего не нашли! Подробности потом: сначала поесть!” Почти бегом - откуда только силы взялись - помчалась к дому. Я в спешке извлекла из холодильника салат, но Юра его решительно отверг: “Горяченького!” Мгновенно что-то поджарили, выпили водки и... начались рассказы!

Оказалось, обыск шел сразу на двух квартирах (еще на ул. Хейдемани, на квартире недавно умершей “тети Мани”, заменившей Заре после смерти родителей мать); нигде ничего не нашли. Во время обыска у Юры была кульминация, один смертельно напряженный момент, как в хорошо построенном детективе, когда температура действия доведена до кипения. Запрещенная литература в доме была! Она хранилась в углублении на верху высоченной печки главной комнаты (Юра гордился своей изобретательностью в выборе “тайника”, мы только позже узнали, что это банально распространенное место для сокрытия чего-либо). Просматривать издания *они* начали с нижних полок (так удобнее), поначалу проверяя каждую книгу очень тщательно. Постепенно поднимались все выше. Можно себе представить, с какими чувствами наблюдал Юра за этим неуклонным подъемом. С минуты на минуту их взору должна была открыться “панорама” печки. Этот момент надвигался неумолимо, как рок. И вот, когда осталось совсем немного, видимо, потеряв надежду, измочаленные (с утра “работали”), они напоследок “схалтурили” и самую последнюю полку просматривать не стали. Бывает же такое везение! На этом фоне всякие мелкие неприятности выглядели несущественными. Какие-то книги, которые показались подозрительными, они все же забрали, как бы “случайно” уронили машинку, унесли ее под предлогом “починки” (явно - для проверки шрифта). Конец получился эффектным: “главный” (следователь прокуратуры) вдруг извлек из письменного стола подозрительный тряпичный узелок, развязал -

а в нем куча боевых орденов и медалей Отечественной войны. “Откуда это у вас?” - неприязненно спросил он. “А это я украл”, - ответил Юра. Всплывали все новые и новые подробности, и мы от души хохотали над первым в нашей жизни “шмоном”, хотя все могло обернуться и весьма плачевно.

После обыска под окнами квартиры на ул. Кастании постоянно дежурила машина МВД. Мы гадали: то ли - для подслушивания, то ли - для слежки, то ли - чтобы мы все не теряли страха божьего. Когда вечерами мы вчетвером отправлялись гулять, она сопровождала нас торжественным эскортом. Хотя большого удовольствия нам это не доставляло, мы старались держаться бодро, нарочито громко болтали и хохотали, и всячески демонстрировали свою независимость. Но наше домашнее поведение все же изменилось: “крамольные” диалоги в обеих квартирах велись исключительно “на бумаге” (листки тут же сжигались), телефон в нашем доме накрывался подушкой, дырки печной отдушины моей комнаты были внимательно изучены, бдительность удвоена. То есть по крайней мере одной цели они достигли: некоторый страх божий им удалось на нас нагнать. Но крамольную литературу мы продолжали раздобывать с прежним упорством.

Однако жизнь как всегда брала свое. Голубая машина под окнами исчезла. Новые заботы (болезни детей, трудности с изданием “Трудов...” и “Семьотик”, тот факт, что Юра стал фатально “невъездным” и многое другое) постепенно оттеснили из памяти это событие на второй план. Но перед моим мысленным взором обыск и сегодня во всех деталях вырисовывается с графической четкостью, побуждая снова и снова заново переживать этот своего рода *единственный* по эмоциональной напряженности день моей жизни.



ФИЛОГЕЛОС ДЛИННОУХИЙ

НЕПОРОЧНОЕ ЗАЙЧАТИЕ

Из воспоминаний С.М. Даниэля: Однажды я обсуждал с Юрием Михайловичем экспериментально-познавательные возможности пародии и, критикуя неизобретательность режиссуры гуманитарных конференций, изложил ему один игровой проект. Хорошо бы, сказал я, взять некий текст (в семиотическом смысле), достаточно простой и достаточно репрезентативный для всего рода подобных текстов, и испытать на нем всевозможные искусствоведческие методологии. Вот, скажем, “Зайчик” Дюрера. Вообразим некую международную лабораторию, где над “Зайчиком” экспериментируют Вельфлин, Опояз, Панофский, марксистско-ленинская эстетика,

